

Л.А. Озеров

«Бег времени» (Анна Ахматова)

На миг останавливаю бег времени. На миг, чтобы вспомнить об Анне Андреевне Ахматовой. Она, ее поэзия, встречи с ней — отрада моей жизни.

Люди, которых мы знали, лучшие из них, со временем становятся общей памятью многих, очень многих из нас, памятью, зачастую, как выяснилось, недостоверной.

Лучшие из лучших переходят в классики, что отторгает их от нас. Сквозь пелену времени, почтительности, славы, кривотолков трудно пробиться к живому человеку, с которым мы общались и разделяли с ним земные радости и беды. Мы подчас сами себе не верим, что это было явью, имело место тогда-то и там-то.

Накапливаются достоверные сведения о примечательном человеке, сперва разрозненные, несистематизированные факты, полные своды их. Рядом с ними появляются апокрифы, досужие домыслы, подделки, иногда невинные, порой бесстыжие и наглые. Спекуляция на общем интересе к тому или иному примечательному человеку, после смерти которого насчитывается много больше друзей, чем их было при его жизни. Явление получает огорчительную массовидность. Анна Андреевна Ахматова не избежала общей участи.

Я не готов к последовательным, календарно выверенным, написанным с толком, с расстановкой воспоминаниям. Не могу воедино собрать разрозненные записи, находящиеся во многих слоях моего неприбранного архива. Но главная причина — в психологической дистанции, которую умозрительно преодолеть трудно. Уже и «Реквием» напечатан, а мне никак не разморозить те отсеки памяти, которые в свое время были болью, несогласием, бедой.

Думаю в дальнейшем вернуться к ахматовской мемуарной теме во всеоружии. А пока публикую фрагменты будущей работы.

Мой сосед по дому Семен Липкин позвонил, и его медлительный успокаивающий голос на сей раз зазвенел.

— Приходи, у нас в гостях Анна Андреевна Ахматова.

Видимо, разговор Ахматовой и Липкина уже состоялся, Анна Андреевна собиралась уходить.

Она была в темном платье, легко узнаваема, хрестоматийность ее облика подчеркивалась жестами — плавными, исполненными гордой тайны. Другая эпоха. Я почувствовал, что вокруг Ахматовой — сильное магнитное поле.

— Я о вас кое-что уже знаю, Лев Адольфович.

Сама эта фраза до сих пор остается для меня тайной. Я не решался спросить об этом Анну Андреевну. Может быть, такой была форма ее внимания, обходительности. А может быть, фраза пришла ей в голову внезапно, дабы сразу же остановить возможный при первой встрече каскад комплиментов и сентиментальностей.

Действительно, я замолчал. Молчание длилось так долго, что Анна Андреевна сама нарушила его:

— Запишите телефон, позвоните мне завтра же, надеюсь, вы будете разговорчивей.

И на этот раз ее предсказание сбылось.

Мне было важно, насущно необходимо говорить с ней, о ней, писать о ней и об ее поэзии.

Интерес к Анне Ахматовой в молодости начался с эпитета. Эпитет — определитель степени мастерства поэта. Ахматова говорит о статуе — «такой нарядно-обнаженной». Этот взрыв смысла — одновременно и «нарядная», и «обнаженная» — пленил меня и озадачил. До чего же это верно, точно, метко! Потом, вчитавшись, понял, что это не прием, это важная черта поэтического мышления. В «Родной земле»:

Хвораю, бедствуя, немотствуя на ней,
О ней не вспоминаем даже...

Не раз убеждался я в том, что у Анны Ахматовой не только тонкость и изящество в манере письма, но и сильный аналитический ум, самостоятельная дума, и терпение (долготерпение), и воля. Это явлено в ее статьях, которых могло быть много больше. Это узнал я, беседуя с Анной Андреевной с глазу на глаз или присутствуя на беседах с другими людьми.

В беседах Анны Ахматовой не было ничего от желания удивить, продемонстрировать, показать, ничего от специально заготовленного и уже проверенного на слушателях. Иногда она повторялась (особенно в последние годы), но самый этот повтор диктовался ходом беседы.

В позднюю пору Анна Ахматова разлюбила оседлость. Часто ездила из Ленинграда в Москву, из Москвы в Ленинград. В Москве она жила на разных квартирах. Чаще всего у Ардовых на Ордынке. Жила у Нины Манухиной на проспекте Мира, у Ники Глен на Садово-Каретной, у Маргариты Алигер в Лаврушинском, у Западовых на бульваре Шевченко, у Петровых на Беговой.

Пропала привязанность к Фонтанному Дому, не появилось привязанности к дому писателей на улице Ленина. Вещей при ней не было. Сумочка с блокнотами, с Горацием, с Данте.

Однажды я сказал Анне Ахматовой:

— Вы — король Лир.

Сдержанно-удивленно:

— Откуда вы знаете?!

Это не вопрос, а восклицание. Мол, так и есть, но как догадались?

О Гумилеве:

— Он был резко правдив. Спрашиваю: «Куда идешь?» Николай Степанович: «На свидание к женщине». «Вернешься поздно?» «Может быть, не вернусь». Перестала спрашивать. Правдивость бывает страшной.

Из рассказа Анны Андреевны.

В Ташкенте старый узбек носил ей молоко.

Он был почителен сверх меры. Молитвенно складывал руки при виде ее. Однажды взял со стола зеркало и сперва приблизил его к лицу Анны Андреевны, а потом поцеловал его.

После рассказа пауза. И после паузы:

— Он, очевидно, полагал, что я принадлежу к потомкам хана Ахмата, последнего хана Большой Орды...

Еще рассказ.

— Можно не думать о природе гениальности. Достаточно увидеть и услышать. Выходил Шалапин. Еще до того, как он запел, у вас появлялась мысль, в которой вы не сомневались. Шалапин запел. И вы окончательно утвердились в своей мысли — гений.

О Льве Толстом без комментариев:

— Мусорный старик.

Я много раз слышал эту по меньшей мере странную и обидную характеристику. Не выдержал — спросил:

— Как так? Что это значит?

— В нем столько всего было навалено, накидано, не упорядочено, столько нагромождено... Он вмещал в себе все...

Разговор о современных сочинителях. Спрашиваю об Евгении Евтушенко.

— О! И вы на эту тему.

Молчание. Поднимает голову, опускает веки. Не глядя на меня, в сторону:

— Фельетонист.

О современниках говорила вяло, предпочитала молчание. Ей навязывали вопросники, она от них бежала.

Конец пятьдесят восьмого или начало пятьдесят девятого года. На квартире Ардовых шла речь об Иннокентии Анненском. Приближалось пятидесятилетие со дня его смерти.

— А не попробовать ли нам отметить эту дату в печати? Прошу Вас, узнайте в «Литературной газете», не отважатся ли там напечатать хотя бы небольшую заметку об Анненском. Объясните, что не ослабятся, напротив, сделают доброе дело.

Пошел, узнал, не захотели, не объяснили, почему не хотят. Возвратился, докладываю Ахматовой. Ничего не сказала. Отвернула лицо и долго смотрела в окно.

В разговоре о Маяковском:

— Я уже говорила — ранний. Ранний — он. Поздний Хлебников... Воспоминания Полонской заслуживают доверия.

Приношу к Анне Андреевне рукопись своей новой (не помню, какой по счету) статьи об ее творчестве. Надо устранить возможные фактические неточности, посоветоваться. Слушает так, как одна она умела слушать: спокойно, даже отстраненно, напряжение скрыто, с достоинством, словно речь идет о другом человеке.

В двух случаях она прерывает меня.

Первый случай:

— Остановитесь, пожалуйста. Вы сопоставляете Ахматову с Цветаевой. Это гимназическая затея. Два разных поэта. Две дамы? Это несущественно. Многие сопоставляют. Вам это делать не пристало.

Второй случай:

— Открытым текстом Вы говорите о влиянии Пушкина на Ахматову. Прошу Вас, остановитесь. Подумаем. Что с Вами? Нельзя же так сильно давить на перо. Пригасите сияние солнца. Если уж говорить, то только как о далеком-далеком отсвете («далеком-

далеком» произносится подчеркнуто медленно, в разрядку). Будьте осторожны в отношении Пушкина, избегайте прямых подобострастных сравнений, покорнейше благодарю.

Читать дальше было трудно, почти невозможно. После внушительного перерыва, занятого монологом Ахматовой о Пушкине, я с грехом пополам дочитал свою статью, которую, придя домой, начал расшвыривать и марать.

Круг поэтов, имена которых всего чаще фигурировали в разговорах Анны Ахматовой, был невелик. Анненский, Гумилев, Мандельштам, Пастернак. Пожалуй, чаще других — Мандельштам.

— Осип победил, — несколько раз она говорила мне и при мне.

— Что это означает?

— То, что без чужой помощи, не прилагая никаких усилий, кроме тех, что пошли написание стихов, он победил. Все было против него, но он победил.

Довольно хорошо знала Анна Андреевна тексты Мандельштама. Если в чем-то сомневалась, неизменно обращалась к Николаю Ивановичу Харджиеву. И он быстро, с энциклопедической полнотой давал ответ.

В 1964 году во Всероссийском театральном обществе удалось осуществить то, что на протяжении многих лет не удавалось осуществить в Союзе писателей. Было положено начало «Устной библиотеки поэта». Среди задач этой необычной библиотеки была и такая: показать слушателям то, что сокрыто в запасниках современной поэзии.

Первым выпуском был Арсений Тарковский, широко известный в узких кругах как оригинальный поэт, хотя и широко прославленный как переводчик и отец кинорежиссера.

Одним из ранних выпусков нашей библиотеки стал выпуск «говорящей» книги Семена Липкина. Это сделано по подсказке Анны Андреевны и с ее благословения. Переведший множество книг, в основном поэтов Востока, создавший неповторимый по силе и красоте перевод калмыцкого эпоса «Джангар», о котором с восторгом отзывалась Марина Цветаева, этот поэт оставался грамотой за семью печатями. Его оригинальные стихи в малом количестве напечатал Твардовский в «Новом мире», они вышли двумя книжками в урезанном виде в издательстве «Советский писатель». Важно было показать хотя бы небольшому числу слушателей этого сильного и оригинального мастера.

На этом выпуске присутствовала Анна Андреевна Ахматова. Она скромно сидела в стороне, ее скоро все узнали и не сводили с нее глаз. Но в выражении лица ее было: «Не занимайтесь мной, будем слушать поэта».

Вступительное слово сделал Борис Слуцкий. Вечер прошел на славу, и Анна Андреевна тихо сказала мне об этом, и благословила наши выпуски «Устной библиотеки поэта».

О Пастернаке, его судьбе и его сочинениях говорила много и охотно.

Последнее из высказываний:

— Самый вероятный сосед на Страшном суде...

Задолго до выхода книги «Бег времени», суперобложка которой украшена рисунком Модильяни, я спросил Анну Андреевну:

— Существует лишь один этот рисунок — Ваш портрет, сделанный Модильяни, или их больше?

— Было около двадцати.

— А где остальные?

Отвечает не сразу. Отвечает спокойно:

— Остальные выкурили солдаты в Царском Селе во время гражданской войны...

Анна Андреевна была у нас в гостях. Привез ее Анатолий Найман. Привез и ушел. Потом обнаружилось, что он прождал ее во дворе. Около двух часов ходил взад и вперед.

Сама Анна Андреевна предложила прочитать новые строки. Мы просить не рискнули. После чтения сказала:

— Читать надо одно стихотворение. Если очень просят, — не более трех. Если настаивают и не отпускают — но не более пяти. Все остальное — это мучительство стихом.

Помню: в гостях у нас тогда был ученый химик Сергей Сергеевич Воюцкий с женой красавицей Асей, знаток и истолкователь Гумилева и Ахматовой, и поэт Яков Львович Белинский. По лицам гостей было видно их отношение к Ахматовой. Лица сияли. Чувствовалось, что и Ахматовой было приятно. Не потому ли в тот вечер она прочитала пять стихотворений, а потом сделала стихотворную запись в альбоме моей дочери.

В 1963 году я был с дочерью Еленой в Комарово. Мы рады были прекрасному соседству Н.Я. Берковского, Л.Н. Рахманова, А.Б. Мариенгофа. Несколько раз к нам приезжала Анна Андреевна, и мы с ней ездили к тому месту в заливе, где была беседка, в которой она выглядела так естественно-царственно. Беседы были легкие, остроумные, беглые.

Помню, однажды в машине Анна Андреевна сказала:

— У нас много написано о деревне, о зеленых зонах земли, о пригородах, а город остается не воспетым. Так ли уж это справедливо?

Несколько раз Анна Андреевна приглашала нас на дачу, которую называла «Будкой». Все было здесь скромно, даже бедно. Но эта бедность не ощущалась. Простой стол — узкий и длинный. Присутствие Ахматовой придавало комнате и обстановке значительность и смысл. Простой стол, узкий и длинный, а казалось, Ахматова на клавишине играет и переносит нас в далекие времена. Мне подарено было фото с изображением этого странного стола. На столе лежит рукопись, на которой Анна Андреевна в моем экземпляре отметила: «1002 ночь».

<...>

В «Будке» мы слушали отрывки из «Поэмы без героя», здесь был обещан новый список ее (старый у меня хранился — рукопись, скатанная в трубку и перевязанная ленточкой).

Возникшую в Музее Маяковского на Таганке мысль устроить вечер Анны Ахматовой долго обсуждали. Уместно? Своевременно? А не повредит ли это ей через десятилетие после доклада Жданова? Анна Андреевна сказала мне:

— Я бы не хотела иметь отношение к этому вечеру. Даже не буду присутствовать на нем. Мне это тяжело. Хочу поручить этот вечер Виктору Максимовичу Жирмунскому и Вам. Согласитесь?

— Для меня это большая честь.

Вечер был многолюдный. Не попавшие в зал заполнили двор. Из зала слова передавались стоящим во дворе. В атмосфере вечера было все: неловкость, непривычка, восторг, преданность, оглядка, ликование, заждавшаяся мольба о справедливости.

<...>

Тишина, безмолвие, немота — одна из тем Ахматовой. Это даже не тема, а образ. Не образ, а скрытая мысль. Тишина — прибежище творящей души. Подчас последнее прибежище. Тишина у Ахматовой — не существительное, а глагол.

Реальность бытия с наибольшей полнотой проступает в безмолвии. Раскрыл уста — реальность почти исчезает, вовсе исчезает.

Слово — камень. «И упало каменное слово на мою еще живую грудь».

Даря книгу «Стихотворения» (1956) — первую после доклада Жданова, после «мертвой полосы» и годов презрения, Анна Андреевна говорит:

— На бумаге восемнадцатого века я сделаю в Вашем экземпляре необходимые вклейки. Вот, к примеру, стихотворение «Музыка». Строки, которые наскоро пришлось вписать, надо забыть. Они здесь есть...

Анна Андреевна указательный палец наложила на строку, заслонив ее от меня, и сказала:

— Прошу их впредь читать так:

Когда последний друг отвел глаза,
Она была со мной в моей могиле.

— Вы уже знаете, что редактировал книгу А.Сурков. Но его ругать не надо, он по-своему защитил книгу.

— Алексей Александрович на запятках Вашей кареты намеревается проскочить в вечность... — говорю я.

Анна Андреевна смотрит на меня пристально и после паузы отвечает:

— Извольте изъясняться афоризмами? Едко!

Первая книга Анны Ахматовой «Вечер» вышла в 1912 году, в ту пору, когда имя Блока было широко известно и любимо. Блок — старший. Блок — лидер символистов, которых акмеисты (круг Ахматовой) будут преодолевать («Преодолевшие символизм» — работа Жирмунского). Преодолевать или отрицать, — и то, и другое.

Рисунок отношений Блока и Ахматовой, достаточно сложный, воссоздан в блестящей работе Жирмунского «Анна Ахматова и Александр Блок». Нет необходимости повторять или варьировать положения этой работы. Тем более что на эту тему писали и Д. Максимов, и Ю. Лотман, и К. Чуковский, и П. Громов, и некоторые другие. Но есть необходимость в частном дополнении к теме.

На моей памяти настойчивые, порой назойливые просьбы многих читателей и исследователей, обращенные к Анне Ахматовой, просьбы рассказать о Блоке. Некоторые из них были так недвусмысленны, что однажды Анна Андреевна сказала мне: «Да объясните же Вы им, что я никогда не состояла в так называемом блоковском гареме».

«Воспоминание об Александре Блоке» — страницы, оставленные нам Анной Ахматовой и впервые опубликованные посмертно в двенадцатой книжке «Звезды» за 1967 год. Как известно, эти воспоминания написаны в октябре 1965 года для передачи Ленинградской студии телевидения.

Достаточно беглого чтения этого очерка, чтобы почувствовать отношение Анны Ахматовой к великому (ее эпитет) поэту, который воспринимается ею «как памятник началу века». Натура достаточно сильная, она умела восхищаться наиболее достойными из своих старших и младших современников (назову Анненского, Мандельштама, Пастернака, Цветаеву, Маяковского, Хлебникова). Конечно, в этом ряду был Блок — одним из первых, наряду с Анненским, которого Ахматова называла учителем (см. «А тот, кого учителем считаю»).

Время от времени — при жизни Анны Андреевны Ахматовой и после ее кончины — возникают недоуменные вопросы, касающиеся ее отношения к Александру Блоку. На один из таких вопросов постараюсь ответить.

В самом начале шестидесятых годов мой ленинградский знакомый позвонил мне и передал привет от Анны Андреевны Ахматовой. Это всегда было празднично — услышать ее или получить от нее привет. Вместе с тем мой знакомый сказал, что ему поручено показать мне несколько стихотворений, которые названы «Из новой книги». «Можете распорядиться ими по своему усмотрению», — сказал знакомый. И добавил: «Анна Андреевна высказала пожелание, чтобы Вы передали эти стихотворения в «Литературную газету».

29 октября 1960 года цикл стихотворений «Из новой книги» был напечатан, хотя и не в объеме, предложенном автором.

В этом цикле меня сейчас интересует такое стихотворение:

И, в памяти черной пошарив, найдешь
До самого локтя перчатки,
И ночь Петербурга. И в сумраке лож
Тот запах и душный, и сладкий.

И ветер с залива. А там, между строк,
Минуя и ахи и охи,
Тебе улыбнется презрительно Блок —
Трагический тенор эпохи.

В собрании стихов («Библиотека поэта», Большая серия, 1976) это стихотворение с условной датой (1967?) стоит между двумя другими стихотворениями о Блоке: «Пора забыть верблюжий этот гам» (1944–1950) и «Он был прав — опять фонарь, аптека» (7 июня 1946).

По выходе номера «Литературной газеты» иные спрашивали, недоумевая: «Что это значит — трагический тенор эпохи!» Другие негодовали впрямую: «Как это можно — о Блоке! — трагический тенор эпохи».

При первой же встрече с Анной Андреевной Ахматовой у Ардовых на Ордынке встал между нами этот злополучный «трагический тенор». Я не возмущался, не протестовал. Мне хотелось понять — в чем дело.

И Анна Ахматова, верная своему обычаю немногословия, сказала мне: «Объясните им, что это не обывательское “душка-тенор”... — И после значительной паузы: — У Баха тенор поет Евангелиста...»

Дома я заглянул в книги о Бахе и узнал, что Евангелист (в «Страстях по Матфею») — партия тенора. Иисус — партия баса, ныне чаще ведомая баритоном. Так вот, думал я, как важно знать то, что имел в виду автор, создавая образ...

Вскоре после этого разговора, перечитывая Блока, я нашел в его цикле «Через двенадцать лет» строки: «И тенор пел на сцене гимны / Безумным скрипкам и весне» (1910). По-новому открылись мне эти строки: тенор пел не романсы и арии, а гимны...

Спустя еще десять лет я получил от академика Виктора Максимовича Жирмунского его работу «Анна Ахматова и Александр Блок», уже упоминавшуюся мной, — оттиск из журнала «Русская литература».

В этой работе ученый касается и стихотворения о «трагическом теноре». Он объясняет его как психологически сниженный — как образ «героя своего времени». С одной стороны, это «памятник началу века», с другой — «трагический тенор» (согласно толкованию Жирмунского, «два диалектически взаимосвязанных аспекта образа Блока как человека-эпохи»).

В той же работе ученый вспоминает о литературном вечере, на котором Ахматова и Блок выступали вместе. «Я взмолилась: “Александр Александрович, я не могу читать после Вас”. Он — с упреком в ответ: “Анна Андреевна, мы не тенора”». «Сравнение это,

надолго запечатлевшееся в памяти, было, может быть, подхвачено через много лет в стихотворении, где Блок предстает как «трагический тенор эпохи», — пишет Жирмунский.

Вероятно, разгадка этого образа живо интересовала ученого. Да и не только его одного. Достаточно выразительное и многозначное определение...

Мелькала догадка о теноре у Баха, поющем Евангелиста, образа Христа у Блока. Мне нужен был совет Жирмунского. Он один только и мог его дать. Но я почему-то медлил. И эта медлительность оказалась — в который раз! — роковой. Вскоре Жирмунского не стало.

С каким опозданием я выполняю обещанное ему!

В предисловии к «Избранным трудам» Жирмунского академик Лихачев пишет об авторе книги: «...будучи близко знакомым с А.А. Ахматовой в последние годы и постоянно пользуясь в своих работах устно сообщенными ею сведениями, он никогда не считал возможным ссылаться на слова, сказанные ему Ахматовой, а всегда подыскивал для них документальные подтверждения».

В этой заметке я ссылаюсь на слова Ахматовой, так как у меня (боюсь, что не только у меня) нет документальных подтверждений версии о «трагическом теноре» — Евангелисте. Но они были сказаны, и они равны, с моей точки зрения, документальному свидетельству. Во всяком случае, они проливают свет на определение «трагический тенор эпохи», вызвавшее такие толки и кривотолки.

Заметил, что Анна Андреевна не любила телефонных разговоров. Если и говорила, то очень мало. Она была уверена, что письма подвергаются перлюстрации, а телефоны прослушиваются.

Звонок. Ахматова берет трубку, в которой торжествующе гудит голос Пастернака. Подтверждение того, что это он, происходит немедленно:

— Слушаю вас, Борис Леонидович.

Вскоре по смыслу разговора выясняется, что он не один, а с «другом наших друзей», женщиной.

— Буду рада видеть вас одного.

Кладет трубку и, после долгой паузы:

— Авантюристка!

«Тайна» — нередкое слово в сочинениях Анны Ахматовой. За этим словом скрыт далеко не мистический смысл. Тайна бытия. Тайна искусства. «Тайны ремесла» — цикл стихотворений.

В разговорах слово «тайна» — редкое. Но самый характер разговоров, их краткость, значительность, выношенность внушали мысль о тайне, как о самом явлении Анны Андреевны Ахматовой.

Чем чаще пишут о ней как о человеке и поэте, тем большей тайной она остается.

Но я предупреждаю вас,
Что я живу в последний раз.

Что это — игра ума? Владение словом? Изящество? Тонкость? Глубина? Все вместе взятое. Для краткости это называют тайной.

Она не поддерживала разговоры на сугубо злободневные политические темы. Если они происходили при ней, молчала. Но всей своей жизнью, всем своим творческим по-

ведением показывала враждебность к тирании Сталина и его клеветов. Говорила на эти темы редко, как бы вскользь. Ее противостояние было длительным и основательным.

Вручая мне фото начала 1946 года (Ахматова в черном платье и в накинутой на плечи белой шали — вечер в Колонном зале), Анна Андреевна произнесла, видимо, облюбованную ею фразу:

— Этот снимок называется «Ахматова зарабатывает Постановление...»

Это было сказано с горькой улыбкой.

Тут же Анна Андреевна показала мне фото, сделанное в тот же вечер, — групповой портрет: Ахматова и Пастернак.

Оба снимка сейчас хорошо известны. Остался неизвестен короткий рассказ Анны Андреевны, поведанный мне в начале 60-х годов. Передаю его последовательно, не ругаясь за точность отдельных слов и выражений. В данном случае важна последовательность сообщенных фактов, мыслей, размышлений.

— Вы, вероятно, заметили, что в сборнике «Из шести книг», вышедшем в 1940 году, под стихотворениями отсутствуют даты. Это была моя оплошность, отозвавшаяся роковым образом на моей судьбе. Сталин увидел эту книгу у дочери своей Светланы. Листая эту книгу, он остановил свое внимание на стихотворении «Клевета». Если б под ним стояла дата 1921 год, он прошел бы мимо него, так как за этот год он не отвечает. Он считал себя, так сказать, ответственным начиная с 1924 года. Название и смысл стихотворения сразу же обратились против меня. Он запомнил это и при случае, уже в послевоенную пору, ответил Постановлением 1946 года об Ахматовой и Зощенко. Разработку «Клеветы» Сталин поручил другому лицу. Все остальное хорошо известно... Стихи надо датировать.

Таков рассказ Анны Андреевны Ахматовой. Позднее, уже не из ее уст, я услышал фразу, якобы сказанную Сталиным, когда он узнал о вечере в начале 1946 года:

— Кто организовал эти аплодисменты и это вставание?!

Имени Жданова не упоминала. Была удивлена, когда я сообщил ей, что слова из его доклада («блудница» и «монахиня») были без упоминания извлечены из книги Б. Эйхенбаума (1923).

— Референты подвели, — сказала она.

— Не впервые подводят. Определение типического референты похитили у Дмитрия Мирского, из «Литературной энциклопедии».

— Чистая работа!

После речи Жданова был (очевидно, негласный) указ обкомам, райкомам и соответствующим организациям писателей — всенепременно найти своих Ахматовых и Зощенко. Разнарядка получена, начались поспешные поиски. И что же? Пострадали многие.

Мне рассказывал мой старый институтский друг, Михаил Кочнев, возглавлявший одно время ивановскую писательскую организацию. Рабочий край. Местных подобий Ахматовой и Зощенко не было. Но приказано найти. Нашли. Тонкого лирика, одного из поднятых Горьким писателей, его любимца Дмитрия Семеновского. О нем писал Блок. Он составлял славу края. Им в числе других писателей-ивановцев интересовался Ленин. Ничто не спасло.

Назвали, проработали, перестали печатать. В тяжелую пору, когда поэт переживал потерю единственного сына на войне. Я был в переписке с Дмитрием Николаевичем. Знаю, как мучительно жил он, как пагубно отозвалось на нем это неожиданное и несправедливое проклятье. Мне удалось напечатать в «Труде» статью о Семеновском. Постепенно его возвращали «в ряды». Возвратили, но поздно. Жизни не хватило.

Никогда не слышал я из уст Анны Ахматовой жалоб. Защищая честь рабочего, постоянно мыслящего и творящего человека, она продиктовала мне (заглядывая в блокнот) перечень ее созданий и список невышедших книг. Упомянула среди прочего несохранив-

шуюся поэму «Русский Трианон» с оставшимися отрывками и напечатанным в книге 1946 года описанием парка. Этот ее перечень приведен в моей книге «Работа поэта» (1963).

Мысленно суммируя этот перечень, за год до смерти Анна Ахматова скажет не без полемического пафоса: «Я не переставала писать стихи». Она не переставала писать стихи, хотя ее не печатали, особенно после речи Жданова (1946). Это наиболее трагический и наименее изученный период ее жизни.

В 1959 году еще продолжалось неловкое, нет, постыдное, замалчивание живого поэта. Наконец, вышла книга — скупая, процеженная, «красненькая», — как ее называли по цвету обложки.

Я написал об этой книге статью для «Литературной газеты», Ю.В. Бондарев ее одобрил. Вместе пошли к С.С. Смирнову, редактировавшему тогда газету. Он тоже одобрил. Почесал затылок и сказал:

— Ну, теперь, перекрестившись, пойду к Екатерине Алексеевне Фурцевой.

Пошел. Что случилось? То ли помогла женская солидарность, то ли чувство неловкости, но и она одобрила статью.

И статья появилась. Первой позвонила Мария Сергеевна Петровых:

— По случайности я оказалась днем на главном телеграфе. Корреспонденты иностранных газет, как мне сказали, передали телеграммы о пересмотре отношения большевиков к Ахматовой.

Позднее пришла телеграмма от Анны Андреевны — одобрительно благодарственная.

После возвращения из ссылки больного поэта Самуила Галкина Анна Андреевна посетила его. Не расспрашивала. Встретились так, будто и не расставались. Это был поступок. Больной поэт пришел к другому больному поэту. Оба опальные.

Ее называли камерной, комнатной, интимной, тихой, тишайшей. Даже такой человек, как Тынянов, говорил о «шепотной» Ахматовой. Этому отдали дань почти все, вплоть до Твардовского.

— Чем вы объясняете такое явление: выхожу к публике, читаю очень тихо, прекрасно слушают... Кто-то из зашедших в артистическую говорит «громкие стихи».

Неожиданно, для связи с предыдущей темой:

— Сейчас во владениях Мао Цзе Дуна меня и Зощенко проклинают, словно мы нанесли Китаю личное оскорбление. В чем дело? Там, говорят, культ Кочетова...

Камерная, интимная, тишайшая, как оказалось, выразила целую эпоху, громоносную эпоху.

Когда погробают эпоху,
Надгробный псалом не звучит.

Ей сообщили, что в сильном подпитии видели Владимира Луговского, сидящего в канаве. Она не удивилась и не поддержала обвинительный тон информатора.

— Поэт, даже сидя в канаве, видит голубизну неба более глубоко, чем прочие.

Это сейчас в отношении Ахматовой звучит дико — «попутчица», «внутренняя эмиграция», «идеологический враг», «блудница», «монахиня» и т. д. Но все это, услышан-

ное в свое время и воспринятое как вызов, как осуждение, как знак остракизма, надо было пережить, пропустить через сердце. Жаловаться Анна Андреевна не хотела и не умела. Не желала об этом и говорить. В ее бумагах пока не нашли рассуждений на эти темы, «ответы на критики», как писали в прошлом веке. А стихи? Стихи вывели эти переживания на иную спираль.

И упало каменное слово
 На мою еще живую грудь.
 Ничего, ведь я была готова,
 Справлюсь с этим как-нибудь.
 У меня сегодня много дела:
 Надо память до конца убить,
 Надо, чтоб душа окаменела,
 Надо снова научиться жить.

Здесь, разумеется, не сказано, почему именно надо было «память до конца убить», зачем желать, чтобы «душа окаменела». Но образы вобрали в себя реальность (приведенный отрывок вошел в «Реквием»).

В природе лирического обобщения — безмерная вариационность жизни.

<...>

Накануне войны, в 1940 году, Анна Ахматова написала:

Когда человек умирает,
 Изменяются его портреты.

Это верно. Изменившись, портреты обретают новый смысл и долго не дают воспоминаниям обрести подлинность. Проходит время. Прошедшее возвращается. Можно позволить себе кое-что воскресить на бумажном листе.

У старых людей потребность в том, чтобы молодые время от времени описывали им значение их для истории. В этом нет ничего неестественного, ущербного или комического. Такая потребность у всех, проживших на этом свете семьдесят и более лет.

Прихожу к Анне Андреевне Ахматовой. Она с первых же слов торжественно жалуется:

— Мне вчера вернули мои стихи из редакции. Со мной обращаются, как с сенной девкой.

— Что Вы, Анна Андреевна! Как можно?

Она спокойно, не без интереса наблюдает за тем, как во мне нарастает возмущение. Молчит, чего-то ждет. Наконец говорю:

— Вам это показалось. Все смотрят на Вас как на императрицу.

Поправляет шаль на плечах, слегка поднимает голову, опускает веки. Приготовилась слушать. Я не заставляю себя долго ждать.

— Это не только мое мнение.

Не выдерживает:

— А чье же еще?

— Большинства.

— Это Ваша доброта множит Ваше суждение на множество.

— Могу назвать этих людей.

— Можно без имен, но в чем смысл их суждения?

— Они давно и прочно оставляют за Вами первенство в современной поэзии.

Ничего не отвечает. Слушает внимательно, несколько отрешенно. Чувствую, что могу долго продолжать в том же духе. Но в этом нет необходимости. Анна Андреевна пришла в себя. Она избыла свою досаду и взбодрилась.

— Не хотите ли послушать несколько новых строк? Читает из блокнота новое стихотворение.

Саженец яблоньки получила Анна Андреевна в дар от Александра Прокофьева, тоже жителя Комарова. У Прокофьева был знатный сад. В этот год (не ведаю какой) случилась суровая зима. Сад Прокофьева заморозило, он погиб. Выжил из этого сада только саженец, подаренный Ахматовой.

<...>

Вспоминать, как это водится у пожилых и старых, не любила. «Вот, в наше время...», «Знали бы Вы, как мы жили, не то что нынешние...» Ничего похожего. Эти интонации были чужды Анне Андреевне. Только подчас, и то к месту, и то к случаю, вспомнит, нет, скорей напомним себе и вам то прабабку-чинзизитку, то бабу Анну, то Херсонес (была рада, когда в позднюю пору получила оттуда письмо моряков). Кратко. Бегло. Даже нехотя.

— Напишите об этом? — спрашиваю.

— Что Вы! Никогда. Это в разговоре.

А в тетради так: «Людам моего поколения не грозит печальное возвращение — нам возвращаться некуда...»

В одну из наших встреч с Анной Андреевной Ахматовой (кажется, это было в начале 60-х годов на Ордынке у Ардовых) я рассказал ей об одном моем потерянном произведении. Речь шла о драматической поэме «Смерть Паганини», которая была мне дорога: я вложил в нее то, что в годы молодости меня волновало в связи со стихией музыки, с темой творчества и одержимости, с размышлениями о судьбе художника.

— Зачем я говорю о своих потерях Вам, так много терявшей?

— Тем более важно, что Вы обращаетесь по верному адресу, — был ответ Анны Андреевны.

После паузы она добавила (передаю последовательность мысли, а не последовательность слов):

— Соберите все, что помните из потерянного, подготовьте текст, даже неполный, даже отрывки. Приведите их в той виде, в каком помните. Ничего, что не будет цельности, что будут пропущенные звенья. Цельность текста не обязательна, может быть, и не нужна вовсе. В недосказанном есть свои загадка, а потому своя прелесть.

<...>

Мои наблюдения таковы: в собрании стихов Анны Ахматовой отрывок означает и указание на больший по объему текст (существующий, скажем, в рукописи, забытый, полузабытый, подразумеваемый, задуманный), и некий жанр. Каков этот жанр? Поэт приводит не весь лирический монолог, а только часть его, важнейшую часть. Таковы стихотворения: «...И мне показалось, что это огни» (отточие и «И» в начале подчеркивают, что дается часть целого, отрывок). «О боже, за себя я все могу простить», «И вот одна осталась я» и другие.

Для русской поэзии это не новость. Такие «отрывки» найдем у Пушкина. Поэтика фрагмента у Тютчева («И распротысь с тревогою житейской», или «И гроб опущен уж в могилу», или «И чувства нет в твоих очах»).

У Анны Ахматовой цикл «Шиповник цветет» имеет подзаголовок «Из сожженной тетради». На это автор считает психологически важным указать. В «Веренице четверостиший» есть «отрывки», играющие роль «целого».

В умении записать самое существенное в лирическом высказывании, назвав это «отрывком» или придав ему характер отрывка, Анна Ахматова видит, возможно, высшее мастерство. В этом смысле любимые мною «Северные элегии» (их четыре, и к ним есть два добавления) также созданы по типу монологических «отрывков». Есть смысл, если не ставить знака равенства, то сочетать поэтику отрывков у Анны Ахматовой с поэтикой афористичности или эпиграмматичности у нее же. Это все завязано в тугой узел.

Остается сказать, что в духе нашего века вешать на стены не только законченные картины, но и наброски, этюды, наброски. То, что оставалось раньше в мастерских, подлежит обозрению. Так во всех искусствах, включая и поэзию. Беглое, едва намеченное, недоговоренное. <...>

— Ничего, что не будет цельности, что будут пропущенные звенья. Цельность текста не обязательна, может быть, и не нужна вовсе...

Читатель уже знаком с этими словами Анны Ахматовой. Я решил в концовке повторить их.

В позднюю пору.

— Анна Андреевна! Мой друг художник Павел Ильич Вьюев хотел бы написать Ваш портрет. Как посмотрите на это?

Долго молчит.

— Слишком много моих изображений, — отвечает, — не достаточно ли. Объясните, что теперь уже поздно...

Последние восемь-десять лет жизни Анна Андреевна Ахматова была окружена людьми в большей степени, чем прежде. Это были старые друзья (Ф. Раневская, Н. Ольшевская, Л. Чуковская, В. Жирмунский, Э. Герштейн, В. Виноградов, Н. Мандельштам и другие). К ним добавились «друзья последнего призыва». Среди этих последних были люди глубоко преданные ей, понимающие ее, искренно желающие помочь ей. Но приходили, похищали ее время и силы люди, чуждые ей, шумные, всего более желавшие обратить внимание общества на то, видите ли, обстоятельство, что «и мы имели честь» общаться с Анной Ахматовой. Они записывали ее голос на пленку, фотографировали, задавали банальные и никчемные вопросы.

Утомленная такого рода посетителями, Анна Андреевна на другой день сказала мне:

— Что-то странное, а подчас и подозрительное вижу в этом вспыхнувшем интересе к бывшей чудом выжившей акмеистке. Это не по мне. Мне спокойней и привычней в моем одиночестве, я в нем знаю каждый уголок...

Боткинская больница, в палате справа — высокая постель. Анна Ахматова после уколов, руки оголены, ее утомили медики. Показывает мне французскую газету.

— Мне сегодня принесли. Заголовок статьи: «Шолохов получил премию, которую должна была получить Ахматова». Так они пишут...

Жизнь учила ее недоверию к людям. Было множество случаев в ее жизни, когда она, доверчивая по натуре, обманывалась в людях. Но если уж доверяла, то всецело и навсегда. Такое доверие сестры к сестре было у нее к Фаине Георгиевне Раневской, о которой рассказывала охотно, открыто, с приведением смешных эпизодов из жизни актрисы (скажем, эпизод из фильма: «Муля, не нервуй меня!»).

Фаина Георгиевна держала образ Ахматовой и все с нею связанное в тайниках своей души, как ценнейшее достояние. Изредка, в особые минуты разговора и благорасположения к собеседнику или собеседнице, она раскрывалась, вспоминала, делилась впечатлениями. Хотелось записать все это. Но Фаина Георгиевна останавливала собеседника и обещала сама засесть за мемуарный очерк. Намерение откладывалось.

<...>

Узнав о кончине Анны Андреевны Ахматовой, я провел день в состоянии глубокой душевной смуты. Я еще не знал, при каких обстоятельствах это произошло, когда и где произошло. Ночью я читал ахматовские стихи и чувствовал, что должен сказать о ней слово. Это был некий толчок изнутри. Я записывал, записывал, набралось много страниц, которыми я так и не воспользовался.

В полдень во дворе больницы Склифосовского, у морга, собралась огромная толпа, — тихая, пестрая, недоумевающая, растерянная. <...> В толпе царила растерянность. Кто и что объявит? Кто скажет? Что делать? Известно было, что руководители Союза писателей находятся в недосыгаемости пригородных домов и дач. Почему-то все упоминали Михалкова, который уехал в неизвестном направлении, но позднее, когда его настигла молва, появился в Ленинграде, на похоронах — по своей или чужой воле.

У входа в морг собралось несколько человек, которые взяли на себя право сказать об Анне Андреевне Ахматовой в скорбный час, до выноса тела. Взобравшись на скользкую ступеньку и поддерживаемые участниками панихиды говорили трое — Арсений Тарковский, Ефим Эткинд и я. Тарковский так волновался, что у него не попадал зуб на зуб. Не овладев собой, он произнес несколько скорбных фраз. Эткинд говорил об Ахматовском Ленинграде и от имени ленинградцев. Я с трудом одолел волнение. То, что я хотел сказать, жило во мне как стихотворение, я чувствовал ответственность этого часа. Эта речь, произнесенная экспромтом, вернулась ко мне через некоторое время, записанная на пленку.

Вот она — речь моя при выносе гроба Анны Андреевны Ахматовой из морга больницы Склифосовского 9 марта 1966 года:

«Никто не давал мне никаких полномочий для произнесения этой речи. Я произношу ее от своего собственного имени, по велению своего сердца.

Ахматова... Анна Ахматова... Анна Андреевна Ахматова...

Большое имя, большая жизнь, большой путь...

“Ахматова! — Это имя — огромный вздох...”

Пятьдесят лет назад эти слова сорвались с уст Марины Цветаевой. И мы повторяем их сегодня. И мы будем их повторять всегда — потому что у больших художников нет дня смерти, есть только день рождения.

Об Ахматовой говорили и продолжают говорить: тихий голос, камерная тема, интимность... Если это так, то почему же этот тихий голос громовым эхом отзывается в сердцах людей России, всего мира?!

Почему так властно и сильно входили и входят в душу читателя ее волшебные строки?!

Почему любой подорожник, любой стебелек в ее поэтических руках становятся сказочными и волшебными?!

Может быть и должен быть один-единственный ответ:

...Ты ль Данту диктовала

Страницы «Ада»? Отвечает: «Я!»

Наступает, еще наступит время для полной и справедливой оценки поэтического наследия Анны Ахматовой, этой хранительницы святого для нее пушкинского начала.

Анна Андреевна Ахматова дожила до часа, когда Россия, весь мир сказал заслуженное ею слово благодарности за ее высокий дар поэта, за ее подвижнический труд, за то, что она приняла

на свое доброе, чуткое сердце непомерные страдания и при этом проявила благородство, долготерпение, мужество, имени которому нет.

Анна Ахматова увидела ночью свою мировую славу и умерла, насыщенная днями, как сказано в книге Иова.

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит...

Умерла Анна Андреевна Ахматова, великий русский поэт. Она утвердилась в наших сердцах и утвердится еще более в сердцах людей грядущих поколений, как наследница русской классической поэзии, продолжатель традиции Батюшкова, Пушкина, Баратынского, Тютчева, Иннокентия Анненского.

Завершилась большая жизнь и большое творчество Анны Андреевны Ахматовой. Начинается, уже началось ее бессмертие...»

Было зябко, сыро, хмуро.

Вынесли тело Ахматовой и положили его на помост, мимо которого стали двигаться люди — те, кто только что заполнил двор. Это длилось долго. Потом тело унесли и через некоторое время появился цинковый гроб, в оконце которого я увидел Анну Андреевну в ее знаменитой шали. Это было видение царевны в гробу, возвышенное видение, запомнившееся на всю жизнь.

— Наш долг собрать свидетельства всех, кто знал Анну Андреевну и способен честно рассказать об этом...

Эти слова тихо, но внятно, обращаясь ко мне, произнесла стоящая рядом со мною Надежда Яковлевна Мандельштам.

Кажется, Пунину принадлежат слова:

— Когда читаю Ахматову, я наклоняюсь над ее стихами, и от этого кружится голова. Образ бездны.

Среди версий о дне смерти есть и такая. Анна Андреевна увидела портрет А. Жданова в связи с датой его рождения. Вспомнили о нем со сдержанной почтительностью. Анне Андреевне тоже вспомнились события 1946 и последующих годов. Цепь ассоциаций в перенесшем тяжелую болезнь сердце. Даже если эта версия не верна, все равно понятны причины ее появления и бытования. Всякий раз она твердила себе, что надо «снова научиться жить».

Это — если в запасе годы. Дни Анны Ахматовой уже подходили к концу, они исчерпывались трудом, недоеданием, равнодушием и издевками современников, тиранией Сталина, шельмованием Жданова, болезнями, трагической судьбой мужа и сына. Это еще слабо описано у нас, хотя «Реквием» достаточно точно характеризует место и время действия:

Я была тогда с моим народом
Там, где мой народ, к несчастью, был.

«Тогда», «там», «к несчастью» — все убийственно понятно.

Хочу напомнить положение из статьи Ахматовой «Слово о Пушкине»:

«Настало время сказать не о том, что *они* сделали с ним, а о том, что *он* сделал с ними».

Трудно точно назвать год, но близится время, когда можно будет эту формулу применить и к Ахматовой.